

Содержание

<i>Предисловие</i>	7
НАЧАЛА	19
ЛЮБОВЬ И ТЮРЬМА.....	85
БОРЬБА.....	135
ИТАЛЬЯНСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО.....	207
СДЕЛКА.....	281
ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ	345
<i>Библиография (частичная)</i>	441
<i>Указатель имен</i>	451

Предисловие

— Кто она? — спрашивали меня друзья, узнав про книгу о Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг. — Мата Хари? Лу Саломе?

Да, и от той и от другой было в ней что-то: от знаменитой авантюристки, шпионки и киногероини и от дочери русского генерала с ее притягательной силой, привлечшей к ней Ницше, Рильке и Фрейда. Но я не оцениваю, не сужу Муру, не навязываю читателю свое мнение о ней и не выношу ей приговора. Я стараюсь сказать о ней все то, что мне известно. Кругом не осталось людей, знавших ее до 1940 года или даже до 1950-го. Последние десять лет я ждала — не будет ли что-нибудь сказано о ней. Но люди, ее современники, знавшие ее до второй войны, постепенно исчезали один за другим. Оставались те, которые знали о ней только то, что она сама о себе им говорила. Кое-кто еще помнил ее, писал о ней или говорил мне о ней, но почти всегда это были одни и те же анекдоты о ее старости: она была очень толста, очень болтлива, когда выпивала, немножко сводничала, много сплетничала и подчас напоминала старого клоуна*.

* “Мура была любимицей [русской] императрицы и близко знала Распутина. Она выжила и стала долголетней подругой Керенского. Она стала членом нового русского двора и чуть ли не любимицей Сталина, который ей позволил уехать из Советского Союза, хотя и умолял ее остаться”. (Михаил Корда, “Очарованные жизни”. С. 120.) Или еще: “Она начала переводить в 1917 г. Критика повсюду хвалила ее переводы Чехова, Тургенева, Андре Моруа и др.”. (На обложке перевода М.И.Б. “Жизнь ненужного человека” М. Горького. *Doubleday*, 1971). Книга Моруа о Прусте была переведена позже и вышла — посмертно — в 1975 г. Она никогда не переводила ни Чехова, ни Тургенева.

Я три года прожила с ней под одной крышей и сохранила о ней свои записки (не дневник, но календарные записи и записи некоторых разговоров с ней); отношения у нас были добрые, но не близкие и лишённые эмоциональной окраски. В то далекое время она, по многим причинам, которые будут ясны из текста, гораздо больше ценила дружбу В.Ф. Ходасевича, чем мою (я была на девять лет моложе ее).

Здесь все факты, которые я старалась спасти от забвения. Источники мои — это документы и книги от 1900 до 1975 года. Они помогли мне раскрыть тайну ее предков, подробности ее личной жизни, имена ее друзей и врагов, цепь событий, с которыми она была иногда тесно, иногда косвенно связана. Мужчины и женщины, рожденные между 1890 и 1900 годами, все были захвачены этими событиями экзистенциально и часто — трагически. Обстановка и эпоха — два главных героя моей книги. Два замужества М.И.Б., которые в ее судьбе не сыграли особой роли, были исковерканы и даже прерваны российской катастрофой. Мура принадлежала стране, эпохе, классу, и в этом классе каждый второй был истреблен. Мура боролась, шла на компромиссы и выжила.

В 1938, в 1958, в 1978 годах я знала, что напишу о ней книгу. Ее жизнь должна была быть закреплена во времени — ее молодость, ее борьба и то, как она уцелела. Свидетелей этой жизни, видимо, не осталось. Кое-где в Англии ее имя несколько раз упоминалось в мемуарах, дневниках и переписке, а также в ее некрологе в лондонской “Таймс”. Все, что писалось, писалось с ее слов. Когда я стала проверять ее рассказы, я увидела, что она всю жизнь лгала о себе. “В мое время” никто не сомневался в правдивости ее слов. Но мы все были ею обмануты.

Она прожила с М. Горьким двенадцать лет, но в советском литературоведении данных о ней нет: в трех-четырёх случаях, когда ее имя попадает в текст, подстрочное примечание поясняет, что М.И. Будберг (титул баронессы не упоминается), урожденная Закревская, по первому мужу Бенкендорф, была одно время секретаршей и переводчицей Горького, — видимо, полуиностранка, которая всю жизнь жила и умерла в Лондоне. Горький посвятил ей свой четырехтомный (неоконченный, последний) роман

“Жизнь Климса Самгина”, но и к этому посвящению никогда не дается подстрочного примечания.

Она никогда не упоминается в связи со своим первым любовником, Робертом Брюсом Локкартом (позже сэром Робертом), которому в “Большой советской энциклопедии” отведено место, как и его “заговору” 1918 года (под буквой Л), ни в связи с Гербертом Уэллсом, знаменитым английским писателем, чьей “невенчанной женой” она была тринадцать лет (1933–1946), после отъезда Горького в Россию и до смерти Уэллса. В воспоминаниях коменданта Кремля, Малькова, арестовавшего в сентябре 1918 года и Локкарта, и ее, она названа “некоей Мурой, его сожительницей”, которую он нашел в спальне Локкарта.

У трех человек, сыгравших огромную роль в жизни М.И.Б., была различная посмертная судьба: живой, привлекательный, остроумный, отзывчивый Локкорт живет теперь целиком в своих книгах воспоминаний и дневниках. В старости он был знаменитым, с большими связями, светским человеком, но советские писатели, драматурги и историки его забросали грязью, изображая его в своих сочинениях продажным и вульгарным шпионом, корыстным дураком, империалистическим агентом, надутым и чванным*.

Долгая жизнь Герберта Уэллса была многократно описана в биографиях и статьях о нем, где обсуждались скрытые личные и общественно-политические проблемы, мучившие его в последние годы жизни. Но о его совместной жизни с Мурой мы не найдем подробностей, несмотря на то что ее долготелная близость к Уэллсу сыграла огромную роль в отношении писателя к России и в разочаровании его в Октябрьской революции, омрачившем его последние годы. Его сочинения 1930-х и 1940-х годов до сих пор в СССР не переведены, и советские критики, упоминая о них, говорят, что “они полны сатирических тенденций”. Его мрачное

* Драматург Н. Погодин, лауреат Ленинской премии, сделал “заговор Локкарта” сюжетом своей пьесы “Вихри враждебные”. Другая его пьеса, “Миссурийский вальс”, касается США, а в “Кремлевских курантах” одно из действующих лиц — Герберт Уэллс. В 1967 г. один из первых советских диссидентов Ю. Кротков поместил в “Новом журнале” (Нью-Йорк, № 86) свою исповедь, покаянное “Письмо мистеру Смитю”. Кротков пишет: “Перед смертью, побывав в Америке и вернувшись домой, в узком семейном кругу он [Погодин] сказал, что все, что он написал об Америке [и Англии?], и все, что о ней пишут другие советские авторы, все *неправда*”. (Подчеркнуто в подлиннике.)

предсмертье изображается как умиротворенное настроение великого человека, пришедшего наконец к убеждению, что компартия Великобритании “стала последней его надеждой”.

Что касается Горького, то у него до сих пор нет биографии — изданное для школьников жизнеописание (сто двадцать три страницы), разумеется, нельзя принимать в расчет. Его письма напечатаны в извлечениях и далеко не все, его фотографии пострадали от красного карандаша цензора*, его взаимоотношения с современниками искажены. Три тома “Летописи жизни и творчества” полны ошибок и неувязок: имена, данные в Указателе, отсутствуют в тексте, а имена из текста пропущены в Указателе. Отмечены “отъезды”, но не отмечены “приезды” (и наоборот); упомянуты письма полученные, но не отправленные (и наоборот). Его поездка в 1920 году в Москву из Петрограда** вовсе не отмечена. Из некоторых источников мы знаем, что первая его жена, Екатерина Павловна Пешкова, собиралась написать воспоминания, “когда она будет менее занята” (ей было восемьдесят семь лет); она, разумеется, так их и не написала. Невестка Горького, вдова его сына Максима, “написала” свои, но они были продиктованы ею, а не написаны, т. к. она не знала, как и что ей писать. На каждой странице этих “мемуаров” запутаны даты и факты: об августе 1931 года она пишет: “В том же году Горький поехал на Конгресс в Париж”, но Конгресс был в июле 1932 года, и не в Париже, а в Амстердаме, куда, впрочем, голландское правительство его не пустило***.

В “Летописи”, между прочим, находим путаницу о дне и месте знакомства Горького с Лениным: они познакомились в гостях у И.П. Ладыжникова 7 мая 1907 года (том 1, с. 658); они познакомились в Петербурге днем 27 ноября 1905 года в типографии “Искры” (с. 563–565); они познакомились вечером (того же дня) в квартире Горького на Знаменской улице — и тут же приложена

* М. Горький. Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1949. В т. 15, с. 336, есть фотография Горького, снятая Максимом в Саарове, в 1923 г. Он сидит на скамейке в саду, а я — срезана.

** Я называю Петербург — Петербургом до 1914 г. С 1915 г. до 1924 г. — Петроградом, позже — Ленинградом. Я называю Эстонию — Эстляндией и Таллин — Ревелем до 1919 г.

*** В Краткой Литературной Энциклопедии (1962–1978), 9 томов, 79 редакторов, отъезд Горького из Италии в Советский Союз помечен 1931 г. Горький уехал в мае 1933 г. (том 2).

фотография дома, где это произошло. Все это приобретает гротескный оттенок, когда в Указателе произведений Горького в конце IV тома (тридцать пять страниц) мы не находим известной статьи о Ленине (1924), позже многократно переделанной. Таковы советские историко-литературные источники.

Я сказала, что мы все были обмануты Мурой. Она лгала, но, конечно, не как обыкновенная мифоманка или полоумная дурочка. Она лгала обдуманно, умно, в высшем свете Лондона ее считали умнейшей женщиной своего времени (см. дневники Гарольда Никольсона). Но ничто не давалось ей в руки само, без усилия, благодаря слепой удаче; чтобы выжить, ей надо было быть зоркой, ловкой, смелой и с самого начала окружить себя легендой.

Она любила мужчин, не только своих трех любовников, но вообще мужчин, и не скрывала этого, хоть и понимала, что эта правда коробит и раздражает женщин и возбуждает и смущает мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюбляясь в нее страстно и преданно. Ее увлечения не были изувечены ни нравственными соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. Секс шел к ней естественно, и в сексе ей не нужно было ни учиться, ни копировать, ни притворяться. Его подделка никогда не нужна была ей, чтобы уцелеть. Она была свободна задолго до “всеобщего женского освобождения”.

В ее жизни не нашлось места для прочного брака, для детей (у нее их было двое, и только потому, что — как она мне однажды сказала — “все имеют детей”), для родственных и семейных отношений; не нашлось места для уверенности в завтрашнем дне, денег в банке и мысли о бессмертии. В этом она не отличалась от своих современников в послевоенной Европе и пореволюционной России. Во многих смыслах она была впереди своего времени. Если ей что-нибудь в жизни было нужно, то только ее, ею самой созданная легенда, ее собственный миф, который она в течение всей своей жизни растила, расцвечивала, укрепляла.

Мужчины, окружавшие ее, были талантливы, умны и независимы, и постепенно она стала яркой, живой, дающей им жизнь, сознательной в своих поступках и ответственной за каждое свое усилие.

Перед смертью она сожгла свои бумаги; те, что накопились после второй войны, хранились в ее лондонской квартире. Ранние (1920–1939) она в свое время собрала и отправила в Таллин, в Эстонию. Они сгорели (так она говорила) во время германского отступления и взятия Таллина Советской армией. Правда ли это? Или она лгала и об этом, когда говорила своей дочери о судьбе бумаг? Может быть. И, может быть, они когда-нибудь всплывут на поверхность в будущем*.

Моя задача заключалась в том, чтобы быть точной и держаться фактической стороны темы; это помогло мне быть объективной, каким, вероятно, должен быть биограф. Себе самой я отдала самую маленькую роль среди действующих лиц, не столько из скромности, сколько из желания написать книгу о Муре, а не о моих отношениях с ней и чувствах к ней**.

Я знала ее, когда мне было двадцать лет, и пишу о ней пятьдесят лет спустя. Но знала ли я ее тогда? Да, если “знать” значит видеть кого-то в течение трех лет, слышать кого-то, жить вместе. Но я не знала ее так, как знаю ее сегодня. Я столько узнала о ней, думая о ней столько лет и узнавая о ней правду, скрытую в свое время ею, правду, которую она искажала, когда ее приоткрывала едва-едва, когда говорила нам о себе, создавая и выращивая свой миф, давая нам в те годы этот миф, но не самоё себя.

* Что касается лондонских бумаг, будто бы сожженных Мурой перед ее отъездом в Италию, за несколько месяцев до смерти, то имеется показание двух людей (просивших не упоминать их имен в печати), пришедших к Муре накануне ее отъезда из Лондона. Они увидели около десятка больших картонных коробок, наполненных бумагами (книг не было видно) и увязанных крепкими веревками. Коробки отсылались в Италию. Дальнейшая их судьба была трагической: дом, в котором Мура поселилась под Флоренцией, оказался слишком тесен, чтобы в нем устроить ее “рабочий кабинет”, и был куплен большой автомобильный прицеп, который был установлен рядом с домом. В этом прицепе был поставлен стол и сделаны полки, и здесь Мура “работала”. Освещался прицеп электричеством, которое было проведено из дома. Однажды вечером произошло короткое замыкание, и все, что хранилось в прицепе, погибло в огне. Возможно, что это несчастье ускорило смерть Муры.

** Из упоминаемых в этой книге лиц я лично знала большинство. Из тех, которых я знала только слегка, я назыву Ф.Э. Кримера, А.Н. Тихонова, А.И. Рыкова, г-жу Соломон, Шаляпина, Баррета Кларка.

Но я не отказываюсь от этого ее мифа и не заслоняю миф реальностью, чтобы скрыть его. Я не отбрасываю его, я нуждаюсь в нем, так же как я нуждаюсь в самой реальности. Мне нужны оба плана, они составляют эту книгу.

Она была молодой в эпоху вдохновенную и зловещую, жила в определенном месте (которое все еще существует, но только в географическом смысле), и потому мы имеем право сказать, что ее жизнь принадлежит тому, что французы называют “малой историей”.

Но оставило ли наше столетие место для “малой истории”? Не было ли все, что случилось с 1914 года, только “большой историей”?

В 1920-х и 1930-х годах два великих биографа дали законы своему и двум следующим поколениям, два больших европейских писателя упорядочили хаос в области, которую им было предназначено обновить и прославить: Литтон Стрэчи и его ученик Андре Моруа. Я называю их большими писателями и великими биографами сознательно: они повернули искусство писания о действительно живших людях и реальных событиях их частной жизни и исторического фона в новую сторону и укрепили фундамент, на котором шаталось все здание. Я предполагаю, что теперь, спустя полвека, их книги перестали читаться и законы, ими данные, постепенно потеряли свою силу. Но было бы странно, если бы этого не случилось: в западной культурной жизни за это время был такой расцвет литературы (всех видов прозы, если сказать точнее), что мы теперь все меньше обращаемся не только к старой литературе, но и к книгам начала нашего века. Но законы были даны, и я им следую здесь. Первый из них и основной: никакой выдумки, никаких украшений, порожденных воображением, только свидетельства, никогда не домыслы, выдаваемые за факты. Если было сказано: *может быть*, не могло быть сказано ни *да*, ни *нет*. Если с моей стороны есть попытка разгадать загадку, то за нею следует и признание, что разгадки нет.

За последние четверть века, особенно в США, биография и автобиография как жанр переживают никогда прежде в литературе невиданный расцвет. Интерес пишущих и интерес читающих

к этому жанру идеально совпадают, как сто и больше лет назад совпадали они с такой же интенсивностью в требовании (или заказе) реалистического романа. Ничего загадочного в этом нет: это — реакция на современный кризис деперсонализации человека и на связанный с этим интерес его к истории. Мы узнали о себе и других слишком много и хотим увидеть изнанку мифов. Современная личность настолько усложнена усложнившейся историей и настолько обнажена, что мы с неудержимой силой и жадностью вовлечены во все бóльшую демаскировку мифов, открывая их скрытую суть, ища идентификаций, ответов и структур. Порядок, строй, закон — основы умственной жизни человека — нам стали нужны больше всего остального. Они не могут дать нам ответы, но они могут вести нас в том направлении, где лежат ответы на вопросы, поставленные нашим временем и все продолжающей усложняться историей.

Расцвет жанра дал развиваться двум друг другу противоречащим методам. Пользуясь первым, автор откровенно предупреждает читателя: я смешивал реальность с вымыслом, и так вы и должны воспринимать эту книгу. Она — не роман и не академическая работа, “я вышивал по канве фантазии, чтобы развлечь вас”. Среди представителей этого метода — Трумэн Капоте, Кристофер Ишервуд, Норман Мейлер. Некоторые критики считают, что Капоте его создатель; Ишервуд признаётся, что учился у Мейлера — “украшать факты” и что его автобиографические книги — “все немного романы”. Во втором методе все обосновано, все — документально. Иногда страницы пестрят подстрочными примечаниями, иногда они отведены в конец книги, иногда их заменяет подробная библиография. Образчик такой работы — монументальная биография Генри Джеймса, написанная Лионом Эделем. В одной из своих работ он писал: “Единственный акт воображения, дозволенный автору-биографу, это воображение формы. Биографы ответственны за факты, которые должны быть ими интерпретированы. Неинтерпретированный факт — это золото, зарытое в земле. Я решил искать истину в двух направлениях: в структуре эпизодов и в психологической интерпретации прошлого... Дать историю в форме биографического повествования, оставаясь в то же время верным всем моим документальным материалам, — вот в чем

я видел тонкость и занимательность моей задачи”. (“Жилище львов”, с. 9.)*

Я старалась следовать методу Эделя. В конце книги мною приложены две библиографии — русская и иностранная, — эти книги (около трехсот) были положены в основу моей работы. Я использовала их. Но это далеко не все: при мне была моя память, сохранившая мне прошлое, все то, что когда-то было рассказано М.И.Б. мне лично, В.Ф. Ходасевичу, нам вместе, а иногда и нам всем, тем, кто дружно жил в доме Горького в те годы, в Саарове, в Мариенбаде, в Сорренто.

Я написала здесь все, что знала. Если читатель сделает мне упрек, что я написала недостаточно, то я приму этот упрек, найду его отчасти справедливым. Но я написала *все*, что я могла написать; если бы я написала больше, это было бы незаконно. Если кто-нибудь когда-нибудь узнает о М.И.Б. больше меня, я буду счастлива, но боюсь, что этого не будет.

Диалогов в книге нет. Только слова, когда-то произнесенные в моем присутствии. Прямая речь, если она попадает, не моя уступка развлекательности, она либо была мне передана свидетелем, либо взята мною из мемуарной литературы. Но главным образом прямую речь я передавала косвенно**.

Название книги взято от прозвища, которое еще в 1921 году было дано М.И.Б. Горьким. В этом прозвище скрыто больше, чем на первый взгляд заметит читатель: Горький всю жизнь знал сильных женщин, его несомненно тянуло к ним. Мура была и сильной, и новой, но, кроме этого, она была известна окружающим тем, что происходила от Аграфены Закревской, *медной* Венеры Пушкина. Это был второй смысл. И третий стал нарастать постепенно, как намек на “Железную маску”, на таинственность, окружавшую ее. “Железная маска” — до сих пор неизвестно, кто скрывал-

* И далее, перефразируя Литтона Стрэчи: “Биография может быть аналитической, живой, человеческой, сжатой. Целое может быть выведено из его части. Человек, герой биографии, всегда двойственен, иррационален, необъясним и противоречив, а потому в подходе к нему не может не быть иронии”. (С. 256.)

** Два момента в книге требуют пояснения: первый касается ночи с Уэллсом в квартире на Кронверкском, второй — фотографий, показанных Муре Петерсом. Оба факта она рассказала сама: второй — мне, когда она поливала мне намыленную голову из кувшина в Мариенбаде, первый — Ходасевичу, когда они ехали ночью из Берлина в Шварцвальд.